

1.3.2. Первая и недолгая «оттепель» в духовной жизни

Перемены в верхах и изменения во внешней и особенно внутренней политике не могли не вызвать определенные подвижки в общественных настроениях. В предыдущих параграфах уже говорилось о реакции населения на смерть Сталина, реабилитацию врачей, арест Берии и выступление Маленкова в Верховном Совете. Публикация в газетах остро критичных материалов сентябрьского пленума ЦК КПСС, касавшихся, вроде бы, только вопросов сельского хозяйства, заставила многих читателей этих материалов задуматься над более общими и глобальными вопросами, породила у них надежды на лучшую жизнь. В том числе в духовной сфере. Для этого были, казалось, немалые основания.

23 июня 1953 г. президиум правления Союза писателей решил вновь принять в члены союза М. Зощенко. Узнав о том, что редактор юмористического журнала «Крокодил» побывал у него после этого и попросил отдать для публикации все его рассказы, написанные за долгие годы вынужденного молчания, писатель, критик и литературовед К.И. Чуковский записывал в свой дневник: «Какое счастье, что 3-ко остался жить, а ведь мог свободно умереть... от голода... Теперь уж этого больше не будет!»{306}.

Ощущение того, что «теперь уж этого больше не будет», охватывало все большее число литераторов и деятелей искусства.

22 августа «Литературная газета» на примере судьбы романа И. Шамякина «В добрый час» выступила против того, что «некоторые редакторы и критики неверно ориентируют писателей, толкают их на ложный и скользкий путь лакировки действительности», и призвала писателей в таких случаях «найти в себе мужество противостоять упрекам критиков, если они несправедливы»{307}. 17 октября на партийном собрании московских писателей, посвященном итогам пленума ЦК КПСС, с резким осуждением «лакировщиков действительности» выступило 5 человек,

20 октября 1953 г. К.И. Чуковский, побывав в Переделкино у романиста К.А. Федина, записывал в своем дневнике: «Говорит, что в литературе опять наступила весна. Боря Пастернак кричал мне из-за забора:

– Начинается новая эра, хотят издавать меня!»{308}.

5 декабря тот же Чуковский, побывав с Фединым у министра культуры П.К. Пономаренко, снова записывал в дневник: «Он больше часу излагал нам свою программу – очень простодушно либеральничая. «Игорь Моисеев пригласил меня принять его новую программу. Я ему: «Вы меня кровно обидели». «Чем?» «Какой же я приемщик?! Вы мастер, художник – ваш труд подлежит свободной критике зрителей – и никакие приемщики здесь не нужны». – Я Кедрову и Тарасовой (главному режиссеру и ведущей актрисе МХАТ им. Горького. – Ю. А.) прямо сказал: «Отныне ваши спектакли освобождены от контроля чиновников»... Мы поблагодарили его за то, что он принял нас. «Помилуйте, в этом и заключается моя служба» и т. д.»{309}.

«Оттепелью» назвал свою новую повесть И.Г. Эренбург. Торопясь отнести ее в редакцию

одного из столичных журналов, он одновременно спрятал в ящик письменного стола непредназначавшееся для печати стихотворение о судьбе интеллигенции, без которой «ту кашу заварили». В нем он подводил такой итог: «Много пройдено и добыто, / оказалось, что ошибся повар, / и должны мы кашу ту расхлебывать / без интеллигентских разговоров»{310}.

Без интеллигентских разговоров, разумеется, не обошлось. Очередным поводом для них стала публикация в декабрьском номере журнала «Новый мир» статьи критика В.М. Померанцева «Об искренности в литературе». Статья эта многих поразила. «Она была как глоток воздуха в затхлом мире условностей, фальши и слащавости... Неведомый В. Померанцев возвращал вещам свое место, и было странно, как до сих пор советские писатели и советские читатели могли думать, писать и читать по-другому». – Так по крайней мере это представлялось вчерашней школьнице Ольге Кучкиной. Имя автора этой статьи как появилось, так и исчезло, «но память о глотке воздуха осталась навсегда. Может, с этого момента и начался процесс постепенного прощания с догматическими шорами»{311}.

Поздравляя одну свою знакомую с Новым годом, Б.Л. Пастернак писал: «Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного: прекратилось всedневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются». Но признавая, что теперь он может пользоваться своей независимостью «с гораздо меньшим риском», поэт все же полагал, что его время еще не пришло: «То, что я пишу все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати не пригодно... Требуется воздух... А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста»{312}.

Немало пищи для интеллигентских разговоров добавил февраль 1954 г. Отправленного на освоение целины в Казахстан Пономаренко на посту министра культуры сменил профессиональный философ и идеолог, бывший начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров. Что может за этим последовать? И что из себя представляет новый министр?

– Говорят, он дон Жуан, – делился своими сведениями Чуковский с другим писателем – В.П. Катаевым.

– Знаю, – отозвался тот. – Мы с ним вдвоем состязались из-за одной замечательной дамы. Фадеев бил себя в грудь:

– Какой я подлец, что напал на чудесный, великолепный роман Гроссмана (речь шла о романе «За правое дело», подвергшемся травле за год до этого. – Ю. А). Из-за этого у меня бессонные ночи. Все это Пospelов, он потребовал от меня этого выступления.

У Федина опять разговор о «гужеедах», взявших в Союзе писателей верх и называющих «эпоху Пономаренко» – идеологическим нэпом, о мытарствах Твардовского и Шолохова. У первого из них начальство сочло подлежащим удалению два места из продолжения поэмы «За далью даль», у второго – та же история со второй частью «Поднятой целины»{313}. Спорили и о том, насколько правильно решение ЦК приступить к массовому освоению целинных и залежных земель. Читали опубликованную в журнале «Театр» пьесу Л.Г. Зорина «Гости» о закулисной стороне одного судебного процесса, в ходе которого судью и адвоката обвинили в «компрометации следствия». Восхищаясь смелостью автора, повторяли вслух реплики его героев и обсуждали, что бы могли означать диалоги между чиновником юридического ведомства – «строителем державы» и журналистом – «разгребателем грязи»: «Пора, знаешь, положить конец наскокам всяких субъектов на государственный аппарат. – Гости приходят и уходят, а хозяева остаются... Мы пойдем к министру, в “Правду”, в ЦК. Правды добьемся. – Запомните, мы никому не позволим бросить на нас тень»{314}.

Годовщина смерти Сталина была отмечена более чем скромно. Накануне, 4 марта 1954 г., на предприятиях и в агитпунктах (приближались выборы в Верховный Совет СССР) состоялись беседы, посвященные его памяти. Но зато обошлось без торжественно-траурного заседания в Большом театре. На следующий день «Правда» поместила на первой полосе большой портрет генералиссимуса и передовую – «И.В. Сталин – великий продолжатель дела Ленина», а на второй полосе – статью Г. Александрова «Могучая сила творческого марксизма». Речь в ней шла о том, что сделано за год после смерти Сталина, причем особо подчеркивался тезис о решающей роли масс в истории. А 20-летняя обительница дома инвалидов в Тобольске Н.

Вишнякова записывала в свой дневник: «Вот она, годовщина со дня великого горя!.. По радио сегодня ни слова о трауре. И тревожно на душе, и в то же время как-то лучше: не насильно, не со стороны идут мысли об этом дне и жизни и обо всем великом и малом»{315}.

Диссонанс в этот относительно спокойный тон внес мартовский номер журнала «Новый мир» с опубликованной в нем поэмой его главного редактора А.Т. Твардовского «За далью даль». И те, кто с некоторым недоумением вопрошал себя о причинах столь вялой реакции соратников вождя на годовщину его смерти, с воодушевлением вчитывались в такие строки: «Так мы на мартовской неделе, / когда беда постигла нас, / мы все как будто постарели / в жестокий этот день и час. / Ему, кто вел нас в бой и ведал, / какими быть грядущим дням, / мы все обязаны победой, / как ею он обязан нам»{316}.

Были хвалебные отзывы, были и критические. Некто Чишуников прочел поэму группе молодых земляков, бежавших из смоленских колхозов, и то, что он услышал от них в ответ, попытался изложить в стихотворном подражании, которое и послал автору: «Поля, леса и перелески / в широкой дали всем видны, / вот только нет там урожая/и двести грамм на трудодни. / Тебя пусть это потревожит, / ты загляни и в эту даль. / Там молодежь тебя не встретит, / она ушла в другую даль»{317}.

14 марта 1954 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР 3-го созыва. Партийные организации с успехом провели и закончили эту, считавшуюся очень важной, идейно-политическую кампанию, обеспечив явку на избирательные участки более чем 99% избирателей и положительное голосование свыше 99% пришедших к избирательным урнам. «Своевременно, организованно и дружно» началось голосование на всех 1748 избирательных участках Москвы. К 6 часам утра у их дверей собралось по 150-200 человек, хотевших проголосовать первыми. Кое-где в течение первого часа проголосовало уже 35-40% избирателей. В Ленинградском избирательном округе, где баллотировался Маленков, голосование закончилось к часу дня, в остальных округах – к двум часам. Избирательница Е.И. Блинова, опустив в урну бюллетень, заявила:

– Я с особой радостью проголосовала за видного ученика Ленина и ближайшего соратника Сталина – товарища Маленкова. Пусть под его руководством живет и крепнет моя родина!

Стахановка завода «Электропривод» Крючкова говорила на одном из избирательных участков Молотовского избирательного округа:

– Я очень рада, что голосую за товарища Молотова. Являясь министром иностранных дел, он неустанно борется за мир во всем мире, за нашу спокойную и счастливую жизнь.

– Голосу за Никиту Сергеевича Хрущева, – сказал рабочий НИИ-94 Можаяев в Калининском избирательном округе, я голосую за дальнейший успех в строительстве коммунизма, которому товарищ Хрущев посвятил всю свою жизнь{318}.

Были, как всегда, проблемы с отдельными лицами, недовольными тем, как местное руководство решает их проблемы. Никуда не делись и члены религиозных сект с антисоветским оттенком. Так, в Ахтырке Сумской области отказалась голосовать семья Смагиных из 8 человек, – баптистов-штундистов. К сожалению властей, у них не было действенных средств влиять на такого рода диссидентов: моральные не действовали, административные исключались законом, не было и экономических, ибо из всей семьи за зарплату работала одна только невестка{319}.

Случались и казусы иного характера. Дважды лауреат Сталинской премии драматург Анатолий Суров почему-то не торопился явиться на избирательный участок, а звонки агитаторов в дверь сердили его, он кричал, что никто ему не указ. Отказывался он и от предложения проголосовать на дому, как «больной». Лишь в сумерки, под самое закрытие явился он на участок, а на недоуменные вопросы членов избирательной комиссии «позволил себе политическое хулиганство», скомкав избирательные бюллетени, швырнув их на пол и принявшись топтать их ногами. Пришлось этого любимчика власти предать партийному суду{320}. «За буйствующее пьянство» его подвергли публичной критике и исключили даже из Союза писателей{321}.

23 марта 1954 г. доцент Ленинградского университета Ф. Абрамов, ознакомившись с докладом Хрущева на последнем пленуме ЦК КПСС, делился с дневником такими своими

впечатлениями о нем: «Радует призыв к правде, к острой критике недостатков. Но вместе с тем доклад поверг меня в уныние. Какой бардак у нас в сельском хозяйстве!.. В докладе сказано, что виноваты Госплан, Министерство сельского хозяйства. Конечно, виноваты. Но вот вопрос – почему эти безобразия могли твориться из года в год?»{322}.

Вскоре имя этого человека становится известным довольно широкому кругу читателей журнала «Новый мир». В апрельском номере журнала появились его литературные заметки «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» с резкой критикой «образцовых» произведений С. Бабаевского, Е. Мальцева, Г. Николаевой и других писателей, которые не жалеют розовой краски и даже будничную колхозную жизнь «любят освещать праздничным фейерверком»{323}.

Тем временем Твардовский собрал в редакции «Нового мира» поэтов и критиков и стал читать им свою новую поэму «Теркин на том свете». Сидевший здесь же Н.Н. Асеев все время бормотал:

– Интересно, оторвут ему голову? Оторвут?

Когда началось обсуждение, В.М. Инбер стала восхищаться:

– Какой замечательный стих! Какая форма!

– Стих обыкновенный, русский, сказочный, – возразил Асеев, – А вот что до того света, то все совершенно верно – я давно на нем живу{324}.

Но кое-кто испугался. Один из членов редколлегии В.П. Катаев испещрил верстку грозными вопросительными знаками и восклицаниями: «На что намек?». Он был не одинок. Главный редактор «Литературной газеты» К.М. Симонов увидел в слове «загроббюро» явный намек на Политбюро. В ЦК стали поступать форменные доносы. Секретарь ЦК П.Н. Пospelов переправлял их к Хрущеву. Последнего возмутила строфа, где генерал говорит, что вот бы ему «полчок» солдат – потеснить царство мертвых:

– Это что, угроза? Бунтовщический намек, что ли?{325}

Стали предприниматься действия, направленные на то, чтобы поставить на место осмелевших было литераторов. Фактический глава Союза советских писателей (первый секретарь его правления) и член Центральной ревизионной комиссии КПСС А.А. Сурков, выступая в Академии общественных наук при ЦК КПСС, обвинил главного редактора «Нового мира» Твардовского в том, что тот «отказался взять партийный билет нового образца впредь до удовлетворения его требования изменить графу о социальном происхождении, в которой значится, что родители его кулаки»{326}. Затем наносится критический удар по самому журналу. 25 мая «Правда» печатает статью того же Суркова «Под знаменем социалистического реализма». Прежде всего досталось публикации Померанцева «Об искренности в литературе». Она прямо была названа «вредной», так как направлена «против коммунистической идейности, против ленинского принципа партийности литературы». Досталось и другим журналам и писателям. Пьеса Зорина названа в лучших традициях советской критики «стряпней». Премьера этой пьесы в Московском театре им. Ермоловой только что прошла с аншлагом и овациями. Но теперь, после такого разноса, второй спектакль был отменен Министерством культуры как антисоветский. Автор три года потом провалялся в больницах и чудом выжил. Так была похоронена впервые в послевоенные годы публично высказанная мысль о правовой незащищенности советских граждан{327}.

Но как раз в это время к читателю приходит пятый номер журнала «Знамя» с повестью И.Г. Эренбурга «Оттепель». Перечитывая ее сейчас, трудно судить, почему она вызвала тогда такой широкий общественный резонанс. Да, упоминается в ней вскользь о деле врачей и их последующей реабилитации. Да, предпоследняя глава заканчивается фразой, которую при соответствующем желании можно трактовать очень широко: «А высокое солнце весны пригревает и Володю, и Танечку, и влюбленных на мокрой скамеечке, и черную лужайку, и весь избывший за зиму мир»{328}. И все. Но тем не менее тогдашний читатель искал и находил в этом написанном на скорую руку и, несомненно, на потребу времени произведении то, что хотел найти.

Пока вокруг «Оттепели» не разгорелась широкая читательская дискуссия, партийные верхи не обращали на нее особого внимания. Мало того, выступая 11 июня 1954 г. на партийном собрании московских писателей, Сурков, продолжая обвинять Твардовского в

идейной незрелости, в игнорировании критики и зазнайстве, о повести Эренбурга отозвался в том смысле, что, при всех присущих ей недостатках, ее нельзя ставить «в один ряд с клеветнической пьесой Зорина». Жесткой критике он подверг «моральную распушенность» таких писателей как Суров и «идейно-порочные» статьи Померанцева и Абрамова, расценив их как атаку на опыт советской литературы, освещенный политикой партии в этой сфере, как атаку «на основополагающие фундаментальные положения метода социалистического реализма»{329}.

Гораздо больше досталось тогда М.М. Зощенко. Пребывая в своего рода эйфории от собственной реабилитации, он посмел (в отличие от А.А. Ахматовой), отвечая на вопросы английских студентов-русистов, высказать несогласие с критикой его в пресловутом докладе Жданова. Ответ этот поднял шум на Западе, и о нем многие узнали из радиоголосов. Обвинив Зощенко в том, что он действует «на руку классовому врагу», от него потребовали объяснений. Зощенко взорвался:

– Что вы хотите от меня? Что, я должен признаться в том, что я пройдоха, мошенник и трус? Я не стану ни о чем просить! Не надо мне вашего снисхождения... Я больше чем устал!{330}

Наконец, 17 и 20 июля 1954 г. «Литературная газета» публикует статью своего главного редактора Симонова «Новая повесть Ильи Эренбурга». Изложив массу критических замечаний, он так их суммировал: «В конечном счете, вся повесть, несмотря на некоторые хорошие страницы, представляется огорчительной для нашей литературы неудачей автора»{331}.

17 июля Твардовский посылает Хрущеву просьбу принять его «по вопросам, связанным с обсуждением работы журнала “Новый мир” и моей неопубликованной поэмы»{332}. Однако в решающий момент, перед обсуждением этого вопроса на Секретариате ЦК КПСС, затосковал, занедужил и объявил, что на экзекуцию не пойдет. На этом заседании Хрущев осудил и те публикации «Нового мира», которые подверглись обсуждению, и поэму «Теркин на том свете». Признав необходимость критики недостатков, но «с позиции укрепления нашего строя, нашей партии», он выразил неуверенность, с каких позиций критикует недостатки Твардовский:

– Враги надеялись, что после смерти Сталина будет ревизия линии партии, но они ошиблись. Мы действуем сейчас и будем действовать впредь в духе линии, выработанной всем предыдущим опытом работы партии. Мы – ленинцы, мы – сталинцы.

Однако, продолжал он, некоторые люди поняли критику, прозвучавшую на последних пленумах ЦК, по-бытоватски:

– Вот и получилось, что те, кого распирала антисоветчина, сразу налетели, выскочили и высказались.

Что же касается Твардовского, то первый секретарь ЦК КПСС охарактеризовал его как человека политически незрелого и малопартийного, но высказал мнение, что списывать его со счетов литературы не стоит:

– Надо попытаться спасти его, если он сам к этому склонен. Разгромного решения ЦК по журналу принимать не следует. Надо спокойнее пройти мимо этого случая. Мы настолько сильны, что никакие мертвые Теркины не потрясут устоев государства{333}.

Отзываясь о Твардовском в целом уважительно и примирительно, Хрущев признал, что часть ответственности за такого рода «загибы» должно нести и партийное руководство:

– Мы сами виноваты, что многое не разъяснили с культом личности. Вот интеллигенция и мечется.

В результате решено было никакого постановления не принимать, ограничившись лишь «рекомендацией» отпустить Твардовского на «творческую работу»{334}.

Вскоре Хрущев имел более чем часовую беседу с Твардовским, заверив его, что нет никакой нужды в особом постановлении о журнале «Новый мир». Но уже 3 августа Твардовского вызвали в ЦК и зачитали ему... это самое постановление. Правда, сообщив, что оно не для печати, как бы внутреннее, для руководства Союза писателей.

Так, вроде бы, закончилась недолгая первая «оттепель». Но, как говорят в народе, «заступи черту дверь, а он в окно». Соблазн либерализации продолжал будоражить умы многих советских людей. Причем не обязательно интеллигентов.

3 августа 1954 г., то есть в тот самый день, когда Твардовский услышал постановление о

журнале «Новый мир», в Воронежский обком КПСС поступило письмо без подписи. Начиналось оно следующими заверениями: «Не подумайте только, тов. секретарь, что мы антисоветские люди, нет! Один из нас еще в гражданскую войну с оружием в руках завоевывал советскую власть, другой имеет ранения и пролил кровь во вторую империалистическую войну, третий тоже имеет контузию в этой войне»{335}. Такая оговорка в самом начале послания не была случайной. Уж больно резко высказывались его авторы. Видно, накопилось: «Наша страна... идет не вперед, а назад. Возьмите наш Воронеж – рабочему классу живется сейчас труднее, чем год назад... В магазинах кроме хлеба ничего нет. Сахар появился на 3-4 месяца и исчез, мяса нет, масла нет, да и вообще по государственным ценам ничего не достанешь, а покупать все на базаре, получая 600-700 рублей в месяц и имея семью 5-6 чел. – это просто, что ничего. Ведь масло на базаре 35 руб., кил. сахара 16 руб., мяса – 18 руб.» Не лучше, по мнению авторов письма, и положение в деревне – нищета и убогость как во времена Некрасова: «Мы во время войны побывали за границей, видели быт немецкого крестьянина, австрийского, чехословацкого, мы по быту от них отстали на 100 лет и с периода коллективизации... почти нисколько не выросли». Заверяя, что они не думают о роспуске колхозов (тоже характерная оговорка), они высказывали мнение, что «политика партии и правительства в этом вопросе несколько неправильная» и что неплохо бы дать «послабления и уступки крестьянству» – вроде тех, что в 20-х годах позволили ему «быстро восстановить сельское хозяйство»{336}.

Воронежские анонимы предлагали провести также административную реформу, сократить число районов и сам районный аппарат, взяв за образец старую, дореволюционную волость, объединяющую от 18 до 25 деревень и обслуживаемую старшиной, писарем, мировым судьей и одним (на две-три волости) приставом с двумя-тремя стражниками, а не 150-200 милиционерами, как сейчас. Считали они чрезмерной и численность многомиллионной армии: «Эти люди тоже являются только пожирающими, но ничего не производящими. Средства на армию идут большие. Надо тоже пересмотреть и этот вопрос, также как пересмотрел его тов. Фрунзе в 1924 г.» Коснулись авторы и вопросов пропаганды. «Ведь в то, что теперь передается по радио, многие не верят... Надоело уже слушать по радио одно и то же и по международному положению... Это, по-видимому, делается для того, чтобы все время наш народ держать в напряженном положении, чтобы он меньше думал о своем экономическом положении»{337}.

Все это, делался вывод, плохо отражается на морально-политическом единстве большей части рабочих: «Ведь вы не знаете, что говорят рабочие. А говорят они иногда очень не в нашу пользу. Иногда говорят так: вот только бы скорее война и получить оружие в руки... Ну, вы понимаете, что это говорят только между собой и потихоньку... Но не подумайте, что это настроение небольшой кучки.

Нет, это захватывает большой процент рабочих»{338}. Насчет верности последнего утверждения можно, конечно, сомневаться. Вероятнее всего, авторы тут преувеличивали. К тому же уже сам факт, что они обращались со своими бедами в обком КПСС, свидетельствовал о том, что они еще верили в способность партии и власти повести дело по-иному, вернуться хотя бы к нэповским порядкам.

Это были иллюзии, но их в то время разделяли многие, в том числе коммунисты. Но кое-кому уже тогда становилась все ясней тщетность надежд на гуманизацию отношений в обществе и демократизацию в самой партии. Для протрезвления некоторых из них таким рубежным моментом стала отставка Маленкова, с именем которого они связывали эти самые надежды.